

Глеб Иванович Успенский

«Ноль – целых!»



Глеб Иванович Успенский

«Ноль – целых!»

Серия «Живые цифры», книга 4

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=665845*

Аннотация

«...В произведениях Успенского второй половины 80-х годов мы много раз встречаемся с резкой критикой основ буржуазной семьи и с противопоставлением ее крестьянской трудовой семье. Успенский подчеркивает при этом, что он прекрасно видит «суровую действительность народной жизни» и вовсе не идеализирует тяжкую жизнь крестьянки при капитализме, но он отделяет от этой действительности «сущность народного строя», заключающуюся, по его мнению, прежде всего в трудовой основе жизни *всей* крестьянской семьи и тесной связи ее с общественной, мирской жизнью всего крестьянского общества. Своим очерком Успенский хотел сказать, что трудящийся человек ни при каких обстоятельствах не может быть «нолем»...»

Содержание

1	4
2	13
3	25
4	38
Примечания	42

Глеб Иванович Успенский

«Ноль – целых!»

1

Я надеюсь, что читатель обратит внимание на некоторые странности, допущенные мною в заголовке этой заметки: совершенно точное определение мнимой величины «ноль целых» вовсе, повидимому, не нуждается в том разъединении двух определяющих слов, какое почему-то допущено мною; это первая странность, а вторая – это знак восклицания, повидимому поставленный также совсем ни к селу, ни к городу.

Если только читатель действительно обратит внимание на эти странности в заголовке, то я надеюсь, что он, уже без всякой с моей стороны помощи, выполнит все то, что я хитроумно задумал, обставив заголовок такими хитросплетениями и загадочными осложнениями. Волей-неволей всматриваясь в эти хитросплетения, читатель, я надеюсь, призадумается, во-первых, над необычайной трудностью предстоящего мне дела – оживить, то есть в живом человеческом образе представить такую мнимую величину, как «ноль», да и не простой ординарный нулишко, ничтожество, а нечто такое, что претендует быть «целым», – это раз; а во-вторых,

призадумавшись над моим трудным положением, и сам попытается подумать и определить, что бы это такое могло в живой жизни соответствовать этой таинственной математической величине?

Неужели, подумает читатель, эта мнимая величина может быть выражена в человеческом образе? Ведь если *ноль*, так, стало быть, на том самом месте, где он стоит, ровно ничего не может находиться; ноль – это пустопорожнее место, знак для указания, что там, где он находится, нет ничего, ни синь-пороха? Однако вот этот-то пустопорожный знак осмеливается утверждать, что он, это «ничто», стоит на месте целого.

Спрашивается, какое же такое может быть это целое, если оно допускает вместо себя представительство «нуля», который опять-таки ровно ничего не означает и в то же время решительно не покоряется вашим обличениям его в ничтожестве, не хочет признать себя просто нулем, а утверждает, что он какой-то особенный ноль.

Вот, вследствие такого затруднительного, даже прискорбного положения, в которое становится исследователь ни с чем не сообразной комбинации «нуля» и «целого», я и поставил в заголовке восклицательный знак: извольте-ко в самом деле поломать голову над разысканием какого-то человеческого существа, которое бы и существовало и не существовало одновременно?

Заручившись помощью восклицательного знака, вызывающего в читателе прискорбное, близкое к состраданию чув-

ство, я без всякой утайки могу сознаться, что положение мое было в высшей степени нелепое. Коренная ошибка моя состояла в том, что я принялся искать живых нулей в народной среде. Где, как не в той среде, думалось мне, могут быть человеческие существования, определяемые пусто-порожним знаком нуля, как не в этой среде наимельчайших десятичных дробей? Разве не здесь на каждом шагу попадаются фигуры, существование которых положительно непостижимо? И я стал самым пристальным образом всматриваться во всякую деревенскую нищету, голытьбу, местную и проходящую, и при всей призрачности существования их, повидимому чрезвычайно близком к несуществованию, в конце концов все они не могли быть выделены из области дробей, хотя бы и в высшей степени микроскопических. И ноль, таким образом, оставался для меня тайной.

Однажды я напал на нечто, казалось мне, вполне отвечающее моей многотрудной задаче. На платформе нашей станции в лютый мороз, на железной, прокаленной холодом скамейке, заприметил я одного человека. Человек этот, крестьянского звания, был весь какой-то воздушный: он был маленький и тощий до последней степени; худенькое лицо, маленькие бесцветные глаза, маленькая, едва приметная бородка, такая маленькая, что лютый мороз, при всех своих усилиях, мог прицепить к ней самую ничтожную сосульку; тощие, худые, обмотанные тряпками и веревками ноги, самые нищенские лапти и короткий старый полушубок с

огромным воротом (нехватило овчины), открывавшим всю голую шею и даже почти плечи, словом, почти декольте, и, наконец, картузишко – все это было так тоще, воздушно, тонко и притом во всех направлениях проникнуто холодом и лютым морозом.

Картузишко, приплюснутый на лбу, топорщился на затылке каким-то букетом рваного сукна, точно зазорный петушиный гребень; очевидно, какой-нибудь добрый человек, желая попробовать новое ружье, сказал воздушному существу:

– Ну-ко, Микитка, швырни шапку! Дай я попробую... Дам папироску!

Микитка швырнул, весело засмеялся, весело надел разбитую шапку и, получив папироску, весело пошел мерзнуть на лютый мороз. Да, было в нем, в этом воздушном, тощем, маленьком, как воробей, существе, что-то воробьино-веселое...

Заприметил я его воробьиную веселость тогда, когда он хотел своими замерзлыми руками сделать себе цыгарку. Он достал газетную бумагу и, конусообразно свернув ее, держал в руке, приготавливаясь наполнить табаком; но другая рука, которая искала в кармане табаку, находилась, должно быть, в таком комическом положении, что и воздушный человек не мог не улыбнуться. Он шумел замерзлой рукой в замерзлом кармане весьма энергично, выпихивал этот карман из-под полы наружу, хотел опрокинуть на руку все в нем содержимое, однако в конце концов ничего не добыл в этом кар-

мане, но все-таки показал вид, что делает цыгарку, и потряс пустой горстью над пустой бумагой. Все это было так смешно, что и сам он не мог не улыбнуться.

– У тебя, – сказал я, – видно, табаку-то совсем нет?

Воздушный человечек поглядел на меня, весело улыбнулся и воробьиным голосом проговорил:

– И даже нисколько нету!..

Что-то беззаботно птичье, воробьиное, и эта худоба, и легкость всего тела, легкость взгляда, улыбка – все это заинтересовало меня с точки зрения поисков за мнимыми величинами.

«Совсем воздушный!..» – подумал я, и мне пришло в голову, что уж не это ли ноль-то целых? Человек живой, а производит впечатление чего-то почти неосязаемого. Необходимо было поближе подойти к нему, и я спросил: кто он? откуда?

Оказалось – идет из острога, куда попал «по ошибке». Служил он у купца при лавке, в чернорабочих мужиках; однажды сын купца послал его куда-то и во время его отсутствия сломал кассу и утащил деньги. Когда воздушный мужик воротился, то застал кассу разломанной и остолбенел от ужаса, а в это время вошел хозяин. Нетрудно было понять, в чем дело и кто вор; но отец, жалеючи сына, повел дело «для виду» против воздушного мужика, чтобы люди не болтали пустого про его родное детище (тоже ведь любишь!), и воздушный человек для «проформы» просидел в остроге три

месяца.

– Он, купец-то, знает! – сказал весело воздушный человек. – Это он так! Какой я там вор!

Веселость, слышавшаяся в этих словах, напоминала действительно веселость птицы, находящей возможность чирикать и порхать по веткам обледенелого дерева, лишь бы играло на небе солнце. И чем дальше шел наш разговор, тем явственнее обнаруживалось птичье существование моего собеседника.

Когда я спросил его – куда он теперь идет и зачем? – то воздушное существо отвечало:

– А и сам не знаю!.. Главное – капиталу нет нисколько! да и паспорта нету, подати требуют.

Слова о податях являлись какою-то неожиданностью в общем впечатлении воздушного человека; капиталу у него нет, паспорта нет, куда идет – неизвестно, нет у него ни табаку, ни одёжи, ни шапки – и вдруг какие-то подати!

– За что же ты платишь-то? – спросил я, недоумевая.

– За две души платим!

– Один?

– Вот как есть!

– Стало быть, у тебя земля есть?

Воздушный человек подумал и весело прочирикал по-птичьи:

– Не! Мы платим *с пуста!*

Разговор о податях, готовый было разрушить мое впе-

чатление о воздушности собеседника, благодаря последней фразе «с пуста», вновь прервал всякую связь между ним и действительностью; он опять оказался существом вполне воздушным, что и поспешил подтвердить следующими веселыми словами:

– Нам с пуста платить – самое любезное дело!.. Ежели бы платить не с пуста, так куда бы хуже было... А с пуста-то, слава тебе господи!

Все это он превесело прочирикал по-воробьиному, и если бы в самом деле был воробей, то попрыгал бы и попорхал по веткам обмерзлого дерева; не будучи, однако, воробьем, он выразил свои воробьиные желания развеселившимися глазами и скривившейся от улыбки бороденкой.

– С пуста платить лучше, чем не с пуста? – чувствуя, что я вместе с своим собеседником, после его последних слов, как бы поднялся от земли к небу и нахожусь в воздушном пространстве, – спросил я его с удивлением и с удивлением же услышал еще более веселые слова:

– Бесподобно хорошо *с пуста-то* платить!..

– Постой! – сказал я, чувствуя как бы головокружение от высоты подъема над земной поверхностью, – ты говоришь, с пуста платить лучше? То есть платить, не получая земли?

– Это самое!

– Почему же так? Ведь землю ты мог бы отдать в аренду?.. Воздушный человек засиял радостью:

– Да она болото у нас!..

Этот ответ опять как бы приблизил нас к земле.

– Болото!.. Но почему же все-таки тебе выгодно платить и без болота? Чем оно тебе мешает?..

– Да не дай бог к нему касаться, к болоту-то!

– Ты и не касайся!

– Не касался бы, так оно касается! Возьми-ко я болото – ан уж я общественник стал! С меня уж и на старосту возьмут, и на волость, и по дорожной повинности, и по мостовой, и караул, и – боже мой – чего еще!.. А как я от земли отказался, остается мне моя душа и больше ничего!.. Отдал за две порции – и знать ничего не знаю!..

И опять мы оба очутились в воздушном пространстве. Теперь уж и я видел совершенно ясно, что платить за пустое пространство и даже в двойном количестве – вещь чрезвычайно приятная.

Но потребность возвратиться на землю заставила меня сделать моему собеседнику еще один вопрос:

– А все-таки куда же ты денешься?

Лицо веселого воробья призадумалось. Подумал он и сказал:

– Боровицкие мужики звали в Питер... в балет служить...

– Куда?

– В театр... По балетной части... Машины двигать... Например, рассказывали, ежели море, так под холстиной сидеть надо, руками ее бить, толкать, чтоб волнами оказывало перед публикой... Работа легкая! адрес одного балетчика у меня

при себе... Только вот капиталу нет нисколько!..

Итак, у воздушного существа оказалась возможность карьеры. При помощи начальника станции можно было помочь ему уехать в Петербург с товарным поездом. Но уже одно то, что у этого человека, несмотря на его полную воздушность и отчужденность от всего земного, оказалась возможность какой бы то ни было карьеры, положения – он уже не мог мне служить материалом для разрешения моей задачи. Воздушность, отличавшая это существо вообще от всякой связи с человечеством, конечно, весьма близко напоминала о нуле, о чем-то во всех отношениях неосвязаемом и неуловимом; но раз это неуловимое может хотя и в мечтаниях приткнуться куда-нибудь и как-нибудь в ряды человеческого общества, оно уже не целое, а непременно дробь и, следовательно, удовлетворяя одной половине определения мнимой величины, «нулю», вовсе не удовлетворяет другой ее половине и, следовательно, не может быть полезным в моих изысканиях.

И долго я так бился с мучившей меня задачей без всякого успеха. Какие бы воздушные, почти мнимые существования ни встречались мне в деревенской жизни, во всяком случае они оказывались дробями, то есть величинами совершенно определенными. И я решительно не знаю, каким бы образом мог я выбраться из моего затруднительного положения, если бы одно совершенно случайное обстоятельство не выручило меня из беды.

Неожиданное обстоятельство это заключалось в том, что я, деревенский обыватель, глаз которого привык видеть только мужика, бабу, деревенскую скотину, соломенные крыши, рваные полушубки, ухо которого привыкло слышать только речи, вращающиеся около слов «никаких способов», и мысль которого привыкла руководствоваться в понимании окружающего единственно упованием на бога, – я, захолустный человек, вдруг, по щучьему велению, очутился в один скучный зимний вечер в самом высшем обществе, в обществе самых благоухающих человеко-цветов, совершенно недеревенского строя жизни, там, где «венец творения» имеет полную возможность чувствовать себя действительно венцом, последним словом культуры, любимым ее детищем, холемым и изобильно питаемым во всех отношениях. Словом, из одного мира – нужды, податей, навоза и соломы – я перенесся в мир довольства, богатства, шелка, блеска и всякого рода радости.

Сделалось это, повторяю, совершенно случайно. Мне давно советовали прочесть наделавший шуму «Роман графини», напечатанный в «Неделе» (№ 11 за 1887 г.); говорили, что вообще – «необыкновенно». Пьяный аптекарь в уездном клубе весь вечер неумолчно вопиял: «Превосходно! дьявольски великолепно!» И вообще вся полупьяная уездная

братия размякла, разнежилась и, пожалуй, даже раскисла от каких-то неведомых ей ощущений, познакомившись с содержанием этого любопытного произведения. Словом, возбуждение умов по случаю появления в печати этого романа было так велико, что я не раз хотел было приняться за его чтение. Но деревенский недосуг, «то то, то другое», эти невидимые, неслышимые, неосязаемые истребители наших дней, месяцев, годов, десятков лет, а в конце концов и всей нашей жизни – долго не допускали меня до выполнения моего намерения. Наконец тоска в поисках за фактами для объяснения не поддающейся никакому объяснению мнимой величины до того доконала меня, что я, единственно из прямого желания забыть свои бесплодные мысли, схватился за желтенькую книжку и с первых же строк почувствовал, что я уже не в деревне, а как бы на ковре-самолете очутился в неведомой стране.

Положим, что страна эта показалась неведомой мне, быть может, по причине моей деревенской обьюроделости – пусть так; но я должен сказать, что кроме обьюроделости, ставящей захолустного человека в необходимость разевать рот при виде иной раз самых ничтожных «диковинок», которыми изобилует «высший свет», – кроме этой совершенно деревенской причины моего восхищения тем, что я прочитал, была еще и другая, самая для меня важная причина – именно статистическая. Читая этот роман, я совершенно ясно видел, что я нахожусь в обществе подлинно уже «целых чисел»,

людей, живущих на свете «полною» жизнью, берущих из нее все, что им требуется во всех отношениях, и моему статистическому глазу нельзя было не засиять бриллиантом от радости – подвести счет всему, что «целому» человеку нужно.

Графиня, героиня романа, показалась мне именно замечательнейшим образчиком всестороннего проявления и удовлетворения желаний, стремлений и обязанностей полного, целого человека ее пола в теперешних условиях жизни; немудрено, что я, насмотревшись в жизни на разные человеко-дробь, на всевозможные искалечения человеческого существа, естественно, был рад, читая роман, смотреть на этот широко и разнообразно живущий образ человеческий и... конечно, в конце концов «подсчитать» всю эту «всесторонность», из проявлений которой слагается прекрасный образ человеческого «целого».

Не знаю, можно ли при настоящих условиях жизни найти другой подобный образчик цельного и полного существования, как тот, который выставлен в романе графини. «Любящий меня муж, – пишет она о себе (стр. 65), – близкие родные, некоторые друзья такую мне жизнь устроили, что я сомневаюсь, есть ли на свете еще другая женщина счастливее меня в этом отношении». И точно, господь наградил героиню романа всем, что только было в его божеской власти. «Я румяна и бела» (стр. 59), «молода и хороша...» «Я знаю, что в свете для многих, как женщин, так и мужчин, я – то, что в басне виноград для лисицы» (стр. 64). Довольно, впрочем, и

этих двух примеров, чтобы видеть, что, точно, господь наградил ее. И во всем романе, там и сям, неумышленно, сами собой сказываются признания в собственных достоинствах, из которых видно, что они не выдуманы, а точно есть, в подлинном виде. «Моя небольшая, живая фигурка, да еще в моей чудесной комнатке в китайском вкусе, положительно ничего страшного не имеет...» (25). Чего уж страшного? Дай бог всякому! Видно, что человек, который так говорит сам о себе, счастлив уже просто потому, что он так счастливо создан. Но этим счастьем «от бога» счастье героини не исчерпывается. Есть у ней, также от бога, муж. «Он очень, очень высок, глаза черные, волосы, усы и борода черные с проседью, вообще его представительная фигура невольно бросается в глаза; к тому же он замечательный лингвист, владеет всеми мертвыми и живыми языками» (47). Как видите, и муж тоже такой, что дай бог всякому! «Ура! – пишет счастливая графиня, – мой муж приехал! Если бы вы видели, как этот высокий, высокий, полный, полный мужчина подхватил меня на руки, как перышко, а сам весь дрожит, слезы на глазах. Когда приезжает, верите ли, не наглядится на меня, на детей. Уверяет, что красивее, изящнее меня женщины не знает, что дети – не дети, а амуры» (27). То есть просто поглядеть-то на них на двоих с детьми – душа радуется! Нет такой прихоти, которой бы этот бесподобный муж не исполнил. Любила она, графиня, чтобы у ней под подушкой коробка конфет лежала постоянно, а тетки-старухи постоянно таскали

эту коробку из-под подушки, говорят: «зубы портятся». Пожаловалась она мужу, и теперь у нее под подушкой постоянно лежит не одна, а две коробки. «Муж велел, и никакие фрейлины в мире (старухи-тетки) не смеют их брать!» (28). За таким мужем жить – что за каменной стеной, это всякий скажет. И живет графиня с мужем – лучше не надо. «Мы с ним примерные супруги: ссор у нас не бывает, он меня любит, балует, я его слушаюсь, все обстоит благополучно» (11). Обыкновенно день проходит таким образом:

«В 10 часов встаю, вожусь с детьми до 12, в 12 – «luncheon»¹, за которым обязательно ничего не ем. До 3-х – *всевозможные* занятия; в 3 – «luncheon» настоящий. После него – обязательная прогулка с детьми и их «governess»² в коляске или карете; иногда я их отвожу и продолжаю сама скитаться или возвращаюсь домой с ними и принимаю посещения; есть некоторые очень интересные, но другие – чистое наказание. В 6 часов – обед с церемониалом; мои тетки, или, вернее, церберы в юбке, выползают на свет божий; обыкновенно еще заходят двое-трое; муж часто отсутствует – в клубе пропадает; детей тоже нет, они обедают наверху в «nursery-room»³. *После обеда такое разнообразие во времяпрепровождении, что мне и не перечислить всего.* Скоро балы начнутся;

¹ *Luncheon* (англ.) – завтрак.

² *Governess* (англ.) – гувернантка.

³ *Nursery-room* (англ.) – детская комната.

теперь их пока нет. Езжу часто в театры, концерты, на симфонические и квартетные вечера, на званые вечера, и у себя принимаю. Тихие вечера мне редко выпадают, а только именно таким доктор приписывает благотворное влияние на мою болезнь... Но где же, где мне раздобыть этих тихих дней и тихих вечеров? Благодаря моей живости я успела стать вне стеснительной рамки условий моей жизни и опять-таки только сравнительно, да, наконец, мне нравится волноваться. Я усердно занимаюсь делами благотворительности, пою, кормлю, одеваю массу старух».

Это скромное перечисление всего, что требует от человека ординарный, будничный день (балы еще не начинались), уже одно оно заставляет вас подумать, какая масса впечатлений нужна более или менее нормальному человеку, чтобы он мог, не стесняя себя, применить к жизни свою живую силу: тут и хлопоты с детьми, *всевозможные* занятия от 12 до 3-х, и *всевозможные* скитания тоже не без причины и необходимости от 3 до 6, а после 6-ти такое разнообразие времяпрепровождения, что и «не перечислить». Остается еще время и желание употребить его на заботу о чужом деле благотворительности. Но этот исполненный, как видите, всевозможными делами день – только будничный. Всего этого мало для нормального человека.

«Встречу я новый год, повидимому, весело. Восемь троек повезут всю нашу компанию в Озерки; там зал уже удержан, и будут цыгане и танцы. Если не будет

очень холодно, всю дорогу буду петь: ужасно люблю кататься на тройках и в санках и петь! NN прекрасно вторит, найдутся еще голоса, нам и цыган не нужно. 25 декабря была у меня елка и танцы, разошлись в 7 часов утра – и вот таким образом каждый день» (74).

Каждый божий день этаким-то вот родом – до седьмого часу! Стало быть, уж много дано от бога! Да и это еще не все; иной раз и не то надумают:

«Я пишу в саду, в так называемом «Охотничьем домике». Дождик льет, как из ведра, и знаете ли, куда мы сейчас, всей компанией человек в двенадцать, отправляемся? Раков ловить сетками. У меня есть преинтересное короткое платье, высокие сапожки, настоящие мужские сапоги на мою ногу» (24).

И ведь в проливной дождик – и то ничего! А раз был такой случай:

«При приближении поезда X., желая удержать мою Бетси, поднял руку; лошадь, испугавшись взмаха руки и свистка машины, вдруг поднялась на дыбы и выбила меня из седла; я упала всей тяжестью на левую сторону. X., говорят, стреляться хотел (30)... Муж уверяет, что X. нарочно причинил мне мою болезнь, чтобы я обратила на него внимание. Он состоит безнадежным поклонником третью зиму (38). Меня доктора хвалят, говорят – терпеливая хорошенькая больная» (29).

Полежала немного, и опять все пошло как должно.

«Когда я пою, то вся пою от души, я сама себя слушаю, точно не я пою, а кто-то другой, и глубина и страстность этого, не моего, голоса удивляют меня. Я не люблю этих минут; я чувствую в себе тогда силу, с которой не умею справляться» (36).

Точно, силы много; и то, что мы уже перечислили по этой части, далеко еще не исчерпывает размеров, в которых она проявляется. «Больше всего все-таки люблю чтение» (12), и благодаря этому она узнала «томик» стихов одного поэта и написала ему:

«Я люблю моего мужа и постараюсь всегда быть достойною его любви и веры в меня; но в моем чувстве к вам так много хорошего, искреннего, что никто не смеет и не должен ничего дурного в нем и подозревать. Я так и объявила мужу, и, как всегда, он нашел, что я права» (60).

И действительно, любовь к поэту и к тому, что и о чем он писал, – самая душевная и возвышенная: героиня романа видит в нем «чистое сердце», которое вылилось в покорные звуки любви и утешения «усталому брату».

«Во многих отношениях, – пишет она (54), – судьба благосклоннее ко мне, чем к этим бедным (усталым) людям. Но в часы сомнений, сердечных гроз, душевной борьбы могу ли я причислять себя к тем «братьям», которым посвящены ваши прочувствованные строки, и стать в число тех, для которых льется ваша песнь?»

Вот и еще новая сторона духовной деятельности человека, и деятельность эта сказывается в размерах, говорящих о не маленькой силе души. «Сердечные грозы» и «душевная борьба» переживаются не «как-нибудь», а настоящим образом, глубоко и в самом деле трудно. И тут видно, что и по части совести тоже дано от бога немало всего хорошего.

Совесть совестью, страданье страданьем, а и еще все-таки есть «остача», которую надо куда-нибудь девать. И эта остача также пополняется кой-какими почти детскими средствами:

«Вышепоименованные *messieurs* – X, Z и NN – три моих самых ярких поклонника, все трое, замечательно изящные молодые люди. Моей симпатией пользуется больше всех NN. Высокий, стройный брюнет, прелестный мазурист, бонмотист⁴ и флейтист, в высшей степени *bon enfant*⁵, надоедающий мне только тем, что, где бы я ни была, дома ли, у знакомых ли, он неотступно следует за мной по пятам. Я не могу сделать движения, чтобы NN сломя голову не бросился в мою сторону; недавно, задев шпорой столик с разными куклами, он повалил их и все разбил. В наказание я заставила его на четвереньках собрать все осколки и чуть не умерла от смеху, когда этот большой мальчик ползал у моих ног. Z более сдержан; ему раз навсегда принадлежат все первые мои кадрили, где бы я ни танцевала. X я вам описывала, он меня давно знает,

⁴ *Бонмотист* (франц.) – остро слов.

⁵ *Bon enfant* (франц.) – добрый малый.

давно любит, и я его давно мучаю, впрочем иногда целует мою руку. Для него двери всегда открыты, он балует моих детей, дразнит моих древних теток и двух левреток, прелестно поет, с мужем на «ты». Когда муж уезжает, то Х обыкновенно считается нашим *factotum*⁶: приносит конфет, ноты, новые книги, читает, когда я разрешаю, ваши стихи...» (69).

Еще есть какой-то моряк, «имеющий дерзость меня любить», который привез героине романа в подарок японское опахало из павлиньих перьев, висящее как раз «над моим диванчиком и устроенное так, что оно плавно и тихо веет хоть без конца, если прижать пружину» (26).

Вот под этим-то опахалом, в комнатке, которая называется «фонариком» и действительно чрезвычайно изящна, в комнатке, где играют «большие мальчики» и левретки и где стоят статуэтки, – здесь любимое место героини; здесь так удобно наблюдать в окно шумную жизнь города, читать, писать и заниматься рукоделием. Да, и на это еще находится время и охота. В течение полугода графиня вышила себе русский костюм: «начиная с первой бусинки кокошника и кончая последним шелковым крестиком рубашки и передника из че-чун-чи, – я все вышила сама». И как вышила-то!.. «Если у вас найдется другое полотенце (она подарила поэту полотенце), то бросьте его в море, а мое оставьте» (53), пото-

⁶ *Factotum* (лат.) – человек, везде присутствующий и все делающий за кого-либо другого.

му что во всяком случае работа превосходная. Золотые руки бог дал!

Однакож всего не перечтешь. «Роман графини» тем и, хорош, что в нем фигура героини и ее нравственная личность очерчены до мельчайших подробностей. Читая эти легкие наброски, маленькие записочки, из которых состоит роман, поражаешься той непомерной массой живых сил человека, которые этому человеку необходимо проявить в жизни и действии, чтобы жизнь эта не была исполнена прорех и пустых мест. Как художественное произведение «Роман графини» тем и привлекателен, что в нем рисуется пред вашим воображением образ человека, живущего полною жизнью, без прорех, пустых мест, и читателю нельзя не любоваться этим художественным образчиком жизни, ничем не стесненной, не притиснутой, не поставленной малейшим образом в какое-нибудь ложное положение и дающей волю духовной деятельности раскрываться и развиваться во всей полноте.

Образчик такой полной, цельной жизни так приковал к себе мое внимание, что я, вместо того чтобы подвести, наконец, итоги и «подсчитать», что именно нужно человеку, желающему чувствовать себя «целым», а не дробью, – вместо этого я, забыв мои статистические обязанности, продолжал по окончании чтения любоваться художественно изображенным обликом и радовался, что автору удалось так удачно выбрать лицо, поставленное в современном строе жизни в наилучшие условия; радовался, видя, что полно живущий чело-

век – большая приманка любить живую жизнь на земле.

Думал, думал я об этом целом человеке, думал, припоминая подробности романа, думал и так вообще о том же деле и скоро почувствовал, что мои мысли, нисколько не прерываясь в своем течении и не сбиваясь с пути, сосредоточиваются на чем-то уже совсем не подходящем к облику героини романа, облику, который как бы даже затуманился какими-то новыми обликами, ни на волос и ни в чем не подходящими к источнику моих мыслей, к роману и его героине, и в то же время вовсе не нарушающими правильности течения мыслей о «целом человеке».

3

– Эх, беда, Ваське-то года не вышли, женить нельзя! А без бабы не совладеть с домом!

Неведомо как и почему вспомнилась и даже послышалась мне довольно-таки давняя жалоба моего деревенского соседа, крестьянина, у которого захворала жена. Крестьянин этот уже пожилой человек, начинавший раскисать и слабнуть; он со своей старухой успел уже выдать замуж трех дочерей, одного сына сдал в солдаты, другой женился и отошел, а теперь на руках стариков остался сын, которому нехватало полутора года, чтобы жениться, две внучки от одной из умерших дочерей да сам старик со старухой.

Жалоба о том, что Ваське не вышли годы, началась тотчас после того, как Аксинья, жена соседа, стала хворать. Прихворнула она в первый раз года четыре тому назад, но ни на минуту не останавливалась в работе. Она постоянно перемогалась, стала жаловаться соседкам на боль то в боку, то в животе, то в спине, но продолжала делать свое дело без малейшего опущения.

Мало-помалу недомоганье стало одолевать Аксинью все сильнее и сильнее, и бывали дни, когда она по полудню не могла встать на ноги. А по мере того, как шло недомоганье Аксиньи, дом моего соседа как-то омрачался; старику приходилось делать иной раз и бабье дело, а молодому парню

случалось и белье полоскать на речке: все это становило мужиков в неловкое положение, затрудняло, нарушало порядок жизни; от всего этого было им и неловко и скучно.

Беда моего соседа и его дома заключалась, между прочим, и в том еще, что и сам он, отец семьи, и его сын, да и вообще вся мужская половина семейства – были не из бойких, не быстрых умом и не расторопных людей. Аксинья чувствовала эти свойства своего мужа, перешедшие потом и в детей, с самого первого дня свадьбы; она знала, что муж ей попался не ахти какого достоинства, хотя и был добр, и тих, и не пьющ. Сама имея добрый характер и непрестанно занятый ум, она не позволяла себе срывать зло на мужнину и детскую «нескладность» – и прожила всю жизнь, вплоть до болезни, почти молча, в непрерывном труде. Теперь же, когда она стала прихварывать, недалый ум и природные нескладности «мужиков» стали сказываться в обиходе жизни всего дома ежеминутно. По мере того, как в Аксинье замирала энергия труда, в отце и в сыне просыпались ничем не препятствуемые свойства нескладности. Оба они стали больше скучать, жалеть Аксинию, чем работать. Старик в унынии целые дни твердил:

– Эх, Васька-то не дорос!.. Как без бабы можно!..

Он убивался, охал, а хозяйство понемногу расстраивалось и шло к упадку.

– Иван Андреич! – скажешь, бывало, охающему соседу. – А ведь забор-то ваш валится... Надо бы вам поправить!

– То-то Васька-то не вышел! Как тут одному сладить? Вестимо, валится!

Подойдет к забору, посмотрит на его разрушение собственными глазами; оказывается, забор, точно, еле жив.

– Ишь, – скажет Иван Андреич, – и то! Эво как его разломило!

Возьмется обеими руками за накренившуюся верхушку столба и «попробует» поставить его прямо. Но от этой пробы подгнивший столб только трещит в корню и еще ниже опускается к земле.

– Ишь, вот!

– Теперь он совсем повалился!

– И есть, что совсем. Ах, баба-то захворала! Эко горе, Васька-то не дорос!

На том дело с забором и оканчивается; а если через несколько времени и продолжается, то непременно в том же самом роде:

– Иван Андреич! Ведь твои свиньи стали ко мне шлаться! Сам ты посуди – ведь огород!

– Да ведь конечно! Сам знаю! Ишь, как его повалило!..

– Совсем упал ведь! Надо же подпереть-то!

– Как не надо? вестимо, надо подпереть!

Удрученный тоскою, Иван Андреич опять подходит к столбу, бьет в него ногой, как бы желая убедиться в его гнилости, и, выбив его окончательно, – причем разрушаются и обе примыкавшие к столбу части забора, – с великим уны-

нием говорит:

– Н-но! вон как уж! Ах, баба-то у меня хворает!.. Эх, Васька-то!

А Аксиные становилось все хуже и хуже, и она стала лежать, больная и недвижимая, по целым неделям.

Тем временем Васька, похожий на родителя по характеру и по «нескладности», хотя и добрый парень, не видя в отце ничего понуждающего к энергическому труду, ничего дисциплинирующего и вообще чувствуя, что при данных обстоятельствах пока «ничего не сообразишь», – также поослаб в труде и предпочитал чего-то ожидать, прежде чем действовать. Полюбил он в это время, от нечего делать, ходить к пастуху в гости и вести с ним разговоры о божественном, о святых, мучениках... Любил и сам рассказывать жития.

Иной раз сидит у развалившихся ворот и повествует между маленькими ребятами о разных чудесах.

Идет мимо какой-нибудь хозяйственный, деловой мужик, остановится, послушает и скажет:

– Эко лень-то в тебе, Васька, разыгралась! Некому вас с батькой приструнить, мать-то хворает... Нашел какое дело – разводы разводить языком!..

– Я про божьих угодников...

– Очень просто скажу, не твое это дело! Поди, поставь свечку, положи поклон и иди к своему делу. Ишь вон ворота-то как разломило, а ты на небо лезешь с разговорами? Нет, брат, возьми топор да вбей гвоздь, – лучше будет...

Нам, брат, в угодники с тобой не попасть, а это лень тебя обуяла – вот что скажу! Тебе когда года-то выдут?..

– Да уж теперь скоро... Осенью войду в совершенные года.

– Женить тебя надо! Она, жена-то, снимет тебя с небеси-то... Авось ворота поправишь.

Ко времени совершеннолетия Василия Аксиныя слегла совершенно.

Маленькое тело ее, скорчившееся под грудой всяких тряпок, тихо и недвижимо лежало на деревянной жесткой кровати и только удушливым кашлем, иногда по целому часу непрерывно «колотившим» ее грудь, давало знать о том, что она еще жива. Нетерпенье Васильева отца относительно его женитьбы возрастало с каждым днем, и когда, наконец, настали для Василия «совершенные года», он, положительно как полоумный, стал сватать за своего сына всех девок без разбора. Сватал он так неискусно, так бессмысленно торопил: «поскорейча!», так бестолково упрашивал, бросался от одной невесты к другой, что только перепугал всех девок.

Накинулся было он впопыхах на молодую горничную, жившую в моем доме, и, не разобрав того, что она уже носит «дипломат» и «все такое», видя в ней только ее здоровье и способность к работе, пристал к ней неотступно, приходил к ней в день десять раз вместе с сыном, оба стояли без шапок, просили всячески, доказывали, что надо спешить, что мясоед скоро кончится, что затем косьба. Словом, между ними

иногда бывали сцены истинно комические: отчаяние со стороны жаждавшего «бабы» отца и в ответ необычайное издевательство и кокетство петербургской горничной.

– Ополоумели они из-за бабы-то! – говорили в народе.

При «нескладности» как отца, так и сына вообще во всех житейских делах едва ли они оба могли бы сделать что-нибудь путное для своего дома. По обыкновению, в дело вмешались «добрые люди» и стали сватать им невест из других, весьма глухих деревень, вследствие чего отец и сын часто должны были на два и на три дня уезжать из дому. Две внучки, по одиннадцатому и двенадцатому году, да какая-нибудь старуха-соседка, взявшаяся покараулить дом, и умирающая Аксинья оставались дома одни. С каждым днем дом этот близился к полному запустению. Скотина шаталась по дворам, голодная и беспризорная, а на дворе был чистый хаос, и для деятельного крестьянина было даже нечто жуткое: при виде всего этого хлама – колес, жердей, телег, полуразвалившихся, кое-как связанных и сколоченных саней, словом, всего хлама, потерявшего вследствие прекращения в доме жизни всякий смысл и значение, – жутко думалось деятельному мужику: о суете сует начинал думать он, о смерти, о тщете жизни, и ему вообще становилось страшновато за ее бессмыслицу и тяготу. «Поскорей бы уйти в жилое место!» – думалось ему, и он спешил уйти... Смертью веяло от всего двора и от дома Ивана Андреева, и скучно было даже смотреть на этот дом.

Наконец пронеслась весть – «нашли!»

Весть эту привезли отец и сын, промчавшиеся по деревне в каком-то неистовом состоянии, погоняя измученную клячу из всех сил. Дело не откладывалось в дальний ящик; в тот же день сладили со священством, а через день состоялась и свадьба.

Привезли молодую красивую девушку, которая не уживалась с злой мачехой.

На наших глазах в разоренный двор, в развалившиеся ворота, на лошади, у которой в тощей гриве виднелся розовый бант, въехала молодая, красивая, также с цветочком в волосах девушка и не спеша вошла по расшатавшемуся крыльцу в разваливавшийся дом.

И в дом вошла жизнь.

Оживание – что будешь делать? – началось смертью Аксиньи.

Бедная, измучившаяся трудовой жизнью старуха если и дышала еще и глядела на белый свет, то только потому, что в ней жила забота о доме, тоска о разрушении хозяйства; эта печаль не давала прекратиться в ней жизни, двигала в ней последние капли крови, сжимала умиравшее сердце.

Но вот вошла в дом молодая сила, и достаточно было старухе «глянуть» на эту молодость, чтобы без малейшего сомнения дать этой молодости и силе дорогу. Как весенним резвым ветром пахнуло в лишенном жизни доме. Пахнуло им и на старуху, сдуло с ее сердца, как сухой листок, печаль

и заботу, то есть все, от чего в ней еще сжималось сердце и двигалась кровь, и Аксиныя испустила последнее, едва слышное дыхание.

Маленький дощатый гроб, в который ее уложили, легкий, как перо, и нечувствительный для четырех дюжих плеч, – легко и проворно бежал на кладбище, точно так же легко и проворно, как Аксиныя, бывало, работала, ходила и все делала при жизни. Как будто и теперь она не хотела понапрасну тратить времени, зная, что оно дорого в хозяйстве. Она точно спешила теперь к своему новому дому, на кладбище, чтобы не мешать новой хозяйке оживлять ее старого пепелища.

Толстый, пышный, румяный пирог, закрытый плотным, как лубок, и расшитым петухами полотенцем («ейное» рукоделие), принесенный мне на второй день свадьбы молодыми, был первым знаком того, что в отжившем доме началась новая жизнь. Молодая женщина – вся живая сила, скромная и могучая – мгновенно преобразила «нескладных» людей. Они были неузнаваемы; даже лицо старика, начавшее походить на тряпку, сияло, налилось и лоснилось, а Василий держал себя с такой усиленной бодростью, точно солдат во фронте. Он также весь сиял, лоснился, но, видимо, почувствовал бесповоротно, что с миром чудес у него все сношения прерваны.

Со второго же дня свадьбы все соседи, все прохожие почувствовали, что в холодном и пустом доме, как в котле, под которым до сих пор не было дров, начинал разгораться го-

рячий огонь. Из всех сил старик с приятелями хлопотал у ворот, приводя их в порядок; стук молотка, топора стал раздаваться поминутно то в том, то в другом углу двора. И отец и сын поминутно сновали по двору, появлялись на крыше развалившегося сарая или у трубы, которая почти развалилась. Не покладая рук, приводили они в порядок и трубу, и крышу, и заборы. Меланхолик Василий не имел минуты свободной для мечтаний и летал на кляче то на реку за водой, то в лес за дровами. Куры, которые в период безвременья бродили где попало, – все собрались в одном месте и открыли начало новой жизни непрерывным кудахтаньем. Всякая тварь радовалась теплу, которое исходило из начинавшегося теплеть дома. С появлением молодой бабы весь хлам трудовых приспособлений, бесполезно загромождавший двор, получил смысл и значение и стал исполнять свои обязанности. Все оказалось нужным, необходимым, и до того необходимым, что весь дом начал жалеть, что у людей «рук нехватает» на то, чтобы управиться.

И именно «баба» дала смысл всей многосложности труда, составляющего жизнь крестьянского дома. Всем нужно быть сытыми, одетыми, обутыми; нужно ждать детей, нужно потом ходить за ними, одевать, обувать, нянчить, растить, беречь. Словом, вся перспектива жизни человеческой раскрылась вновь перед всеми живущими в доме, и потому именно раскрылась эта перспектива от появления молодой женской силы, что внесенное ею разнообразие, повидимому только

«женских дел», – находилось в действительности в неразрывной связи с разнообразием всех дел мужиков и, только сливаясь воедино, давало смысл и содержание жизни целой семьи. Ездить за дровами и топить печь, чтобы было только тепло, – скучно; но ездить за дровами для того, чтобы и тепло было, и чтобы молоко оттопить ребенку, и чтобы спечь хлеб, чтобы выстирать белье, чтобы вымыть ребенка, – это дело стоящее, и поэтому «беспременно» надо ехать за дровами, хоть даже воровать.

Вот, кажется, собственно на этом-то пункте, то есть на неразрывности женской и мужской трудовой жизни в народной среде, – я и утратил незаметным для меня образом то чрезвычайно радостное ощущение «полноты» существования, которое получилось от чтения «Романа графини». Конечно, полотенце она, графиня, вышьет такое, что все остальные действительно следует выбросить в бездну моря; но у деревенской женщины даже и такая, повидимому, бабья мелочь, как полотенце, все-таки дело не бабье только, а взаимное; даже и в этом пустяке ее муж должен принимать участие – пахать под лен, сеять и т. д. И если представить себе, что нет такого женского или мужского, большого или малого труда в народной среде, который бы не был неразрывно связан взаимным сотрудничеством, то полнота бабьей и мужской жизни во всех отношениях будет, пожалуй, поразностороннее, чем описано в романе.

Ставши на эту точку зрения, я невольно стал припоминать

Марфу, молодую жену Василия, во всевозможных и разнообразнейших положениях ее трудовой жизни. Вот она едет на высоком возу сена и даже песню поет («Рябинушку»): это она помогала мужу сушить и сгребать сено, участвовала в мужицком труде; но, с другой стороны, когда она ставит хлебы и когда у нее заняты руки, муж ее должен взять ребенка, играть с ним, сказки ему сказывать, игрушку делать. Да и не в доме только делают они одно общее дело, а и в обществе. Она, Марфа, не вмешается в сходку, не предьявит своего бабьего мнения всенародно, но уж в стороне «от мужиков» непременно стоять будет и будет слушать в оба уха все, что галдят мужики, а почуяв какую-нибудь прикосновенность разрабатываемого вопроса к своему дому, непременно оттащит мужа за рукав и так «внушит» ему, что он не дастся в обиду и не продаст за стакан вина своего голоса в вопросах, касающихся, положим, деревенского бюджета. Да и непосредственно она не чужда связи с общественным делом, неразрывным с делом домашним: она вот теперь беременна, а ей надобно сегодня ночью идти молотить; неразрывность трудовой жизни сделает то, что пойдет молотить муж, а она исполнит за него обязанность ночного караульщика. Сидеть у ворот и стучать в колотушку ей легче и по силам.

Однако трудовая жизнь ее не исчерпывается одним только трудом рук; есть у нее и духовные интересы и знания. Она вот твердо знает, что когда захворают овцы, то надобно молиться угоднику *Самоову*, и хотя батюшка говорит ей, что

такого угодника нет, а есть господь Саваоф, но она, не желая оставить овец без защиты и помощи, все-таки продолжает быть уверенной, что и угодник *Самоов, самый овечий*, настоящий защитник, – должен быть от бога дан непременно. Конечно, это не настоящее знание, да где же ей взять настоящего-то? И детей она сама лечит, и есть у ней на этот счет также собственные свои знания; знает она, когда и как и при какой болезни что надобно шептать, и как заговаривать воду, и какую пить траву. И эти знания, разумеется, совсем не настоящие, но и тут она опять не виновата: ни она до знания, ни, тем печальнее, само знание не дошли друг до друга и когда дойдут – неизвестно! А если бы дошли, то, разумеется, Марфа не стала бы шептать пустяков, а стала бы делать настоящее дело.

Мало-помалу достоинства жизни Марфы стали окончательно преобладать над достоинствами жизни графини. И Марфа умеет петь, и она до седьмого часу отлично отплясывала на вечеринках, а рыбу и раков они теперь с мужем ловят каждое лето и притом даже совсем без «сапожек»; умеет и она приготовить, во-первых, «маленький» ленч в четыре часа утра, потом (в рабочую пору) «настоящий» ленч в девять часов, потом обед, потом полдник, потом ужин; умеет и она привлекать сердца «больших мальчиков», но деревенские большие мальчики худа ей не смеют делать, и когда один хотел было, чтобы она «обратила на него внимание», столкнуть ее с дровней, на которых она ехала с бельем

к проруби, – то она сделала такой веселый жест, что «большой мальчик» сразу стал на четвереньки и мог проговорить только – «однако!», чем и заставил Марфу хохотать до упаду. Словом, все, что может проявить в жизни богато одаренная натура героини романа, все проявляет и Марфа, с тою только разницею, что ее полнота жизни неразрывно и во всех подробностях слита, во-первых, с жизнью мужа, а во-вторых, далеко не отделена от жизни общественной, мирской, в которой она участвует своей мыслью и своей заботой.

Это последнее преимущество – неразрывность интересов семьи с «миром», обществом – окончательно помрачило передо мною очарование того самого фонарика, откуда видна вся кипучая (?) жизнь Петербурга и где веет опахало, привезенное моряком, который имеет смелость и т. д.

Но когда я исчерпал все достоинства Марфы, мне стало как-то жалко утраченного впечатления романа. Впечатление было хорошее, а в деревенской глуши, не часто балующей такими прелестями, и подавно. Мне сильно захотелось опять восстановить это впечатление, опять немного полюбоваться изображенным в романе, и я вновь стал его перелистывать. Но увы!.. Теперь мне стали попадаться такие строчки, которые я проглядел под первым впечатлением и не обратил на них никакого внимания. А теперь именно они-то и выступили с особенной ясностью и окончательно истребили во мне все, что я за полчаса еще считал таким прекрасным и поэтическим.

4

Темным облачком затемнилась сначала одна, час тому назад яркая и светлая страница, а за ней другая и третья. На одной мелькнула мне такая прозаическая фраза:

«Муж мой состоит при одном из министерств и из двенадцати месяцев в году восемь проводит вне дома. Сперва мне эти разлуки стоили горьких слез, теперь я привыкла...»

А на другой и еще прозаичнее:

«Когда муж приезжает, не наглядится на меня. А пройдет месяц, другой, смотришь – завязываются чемоданы, приготавливаются, чистятся ружья, и – прощай! «Нельзя, мое дитя, долг службы!» (27).

А третья страница так и совсем меня доконала:

«Отъезд мужа может расстроить мои намерения, а он скоро может уехать. *Жалею очень, что мы не миллионеры*; муж бы тогда не служил и не оставлял бы меня» (42).

Прочитал я эти строчки – и сразу все великолепное видение рассыпалось прахом!

Как старик в сказке о рыбаке и рыбке, когда золотая рыбка ушла в море, ничего старику не сказавши, «лишь хвостом по воде плеснула», – так и я очутился теперь в недоумении пред

какой-то безотрадной пустотой. Передо мной, как и перед стариком, исчезли все сказочные чудеса, очутилась старая землянка, на пороге землянки не царица, а старуха,

А перед ней разбитое корыто!..

Тайна сказочного великолепия стала совершенно ясна. Была золотая рыбка – и великолепие было, а ушла рыбка в «глубокое море» – и осталось от всего только землянка, да старуха, да корыто!

Будет миллион или, проще, купон – будет и ленч; сначала малый, потом настоящий, потом «всевозможные» занятия (от 12 до 3), потом «всевозможные скитания» до 6, потом обед, потом увеселения, которых не перечесать, будет и воспитание детей, и благотворительность, и танцы до семи часов утра, и тройки, и раки, будет любящий муж, и поклонники, и певцы, и поэты, и вышивки, и фонарики, и все – все будет! А не будет купона – ничего не будет!

А вот Марфа...

Но нет! я положительно не смею говорить о Марфе. То, что я сказал бы в пользу полноты ее существования, могло бы показаться умышленным разукрашиванием ничем не разукрашенной «бабьей жизни». Это действительно так, и трудно пожелать кому-нибудь «отведать» на собственном опыте всю эту «полноту» теперешней деревенской нищеты, тяготы и всякой недостатчи, одинаково знакомых как муж-

скому, так и женскому населению деревни.

Но если «действительность» народного строя жизни скудна и не дает возможности фактически подкрепить и разукрасить пред читателями особенности этого строя жизни – все-таки самая сущность этого строя заслуживает полного внимания. Отделив эту сущность от суровой действительности народной жизни, мы все-таки получим возможность довольно ясно представить себе основания, на которых может держаться более или менее *полное*, действительно цельное существование человека.

Откинув наличность нужды, нищеты и всякой тьмы, мы получим в совершенно ясном виде следующие основные черты народного строя жизни: во-первых, семья, в которой мужчина, как и женщина, необходимы друг для друга потому, что только неразрывная во всех отношениях трудовая жизнь их – и есть основание всего строя, жизни. Ни бабе, ни мужику жить друг без друга нельзя, и *своего* дома у них не будет. Смысл существования и вообще *жизни* для них обоих получается только тогда, когда они «вместе» и «вместе во всем». Это первая, отличительная черта народного строя жизни, а другая заключается в том, что жизнь *семьи, дома* неразрывна с мирскою, общественною жизнью; семья имеет на нее непрерывное влияние, точно так же как и сама постоянно чувствует влияние мира на себе.

В этих двух характерных чертах народного строя жизни заключаются все данные для многостороннейшего прояв-

ния человеком всего, что в нем есть божеского и человеческого.

Облечь этот «образчик» полноты существования в такие формы, которые бы пленили мысль и взор читателя, не позволяет горькая действительность, и вот почему мы не смеем живописать красоту существования Марфы.

Но раз все-таки этот «образчик» так или иначе обозначился в нашем воображении – мы его не будем оставлять без внимания. Облик героини «романа» – образчик купонной полноты жизни – есть редкое исключение. В действительности же стон, плач и стенания идут от купона во всех направлениях, и дело семьи, мужа, жены, как во взаимных их отношениях, так и в отношениях к обществу, до такой степени изуродовано, искажено купоном, что на него давно уже пора обратить серьезное внимание.

Пятьдесят лет тому назад сила купона не развилась еще до таких размеров, до каких она дошла в настоящее время. Пятьдесят лет тому назад мы могли видеть его проделки только на несчастном поденщике, человеке каторжного физического труда. Теперь он уже проел все слои общества от верхнего края до нижнего, и именно там, где должен бы быть виден результат, своей прелестью оправдывающий все понесенные во имя купона жертвы, – там-то его и нет.

Примечания

Очерк впервые напечатан в «Северном вестнике», 1888, III. Сохранились четыре рукописных варианта начала очерка, в котором Успенский разъяснял смысл своеобразного написания заглавия; полная наборная рукопись; гранки с наборной рукописи без авторской правки; гранки третьей и четвертой глав очерка с авторской правкой, в основном стилистического характера, и от руки написанным концом очерка, где говорится о «сущности народного строя» в противопоставлении его со строем «купонным». В недошедшей до нас последней корректуре Успенский продолжил работу над художественной отделкой произведения; однако там же цензурой (это утверждает сам Успенский – см. выше, стр. 647) были сделаны значительные купюры в конце очерка, как раз в той части, где давалось теоретическое обобщение системы художественных образов очерка. Оказались вычеркнутыми строки с резкими высказываниями писателя о буржуазном строе общества, в котором «господин купон» создает «мнимые величины» – буржуа, а «настоящие и целые» – народ низводит до состояния «дробей». Так, не вошли в печатный текст строки с убийственной характеристикой жизни буржуазного общества: «Полнота-то жизни, оказывается, таится в миллионе. Благодаря ему можно сотни и тысячи десятичных дробей заставить служить нулю и наполнить его жизнью до

того, что он будет походить на нечто целое». И далее, следующая купюра: «И пользуясь всем этим, человек в самом деле похож на «целое». Но для всего этого нужно, чтобы купон изуродовал целые массы людей, превратив их в дробь. Ведь это дробь готовят два ленча – малый и настоящий; ведь они же «воспитывают» детей, они делают японские веера, возят в Озерки, шьют сапожки, делают иголку для вышивания полотенца, делают фотографии, чтобы полюбоваться собой; делают нищих старух, чтобы им благотворить, и заставляют поэтов терзаться жизнью... Купон все может сделать: он пойдет в книжный магазин, отдаст два рубля за том, написанный кровью, – и съест этот том с аппетитом. Он отовсюду берет чужое потому, что у него своего ничего нет. И что бы было, если бы купон вдруг, как золотая рыбка, «лишь хвостом по воде плеснувши», исчез в «глубокое море». Убегут десятичные дроби, и то, что казалось целым и полным, окажется только нулем!». Исключена из печатного текста и концовка очерка с упоминанием о «воплях и столах раздробленного купоном европейского человека» и обещанием коснуться этой темы в «особом дополнении» к этому очерку. Эта купюра лишила Успенского возможности продолжить цикл очерков, о чем он с горечью пишет А. М. Евреиновой (см. выше, стр. 647). Совершенно очевидно, что из-за строгого запрета цензуры того времени иронически упоминать о религии и служителях духовного культа выброшены насмешливые строки в разговорах крестьянина с Василием на те-

му об увлечении Василия религией в ущерб крестьянскому хозяйству, – эти купюры в настоящем издании восстанавливаются. Для Сочинений Успенский сделал очень небольшое количество поправок стилистического характера.

В произведениях Успенского второй половины 80-х годов мы много раз встречаемся с резкой критикой основ буржуазной семьи и с противопоставлением ее крестьянской трудовой семье. Успенский подчеркивает при этом, что он прекрасно видит «суровую действительность народной жизни» и вовсе не идеализирует тяжкую жизнь крестьянки при капитализме, но он отделяет от этой действительности «сущность народного строя», заключающуюся, по его мнению, прежде всего в трудовой основе жизни *всей* крестьянской семьи и тесной связи ее с общественной, мирской жизнью всего крестьянского общества. Своим очерком Успенский хотел сказать, что трудящийся человек ни при каких обстоятельствах не может быть «нолем».

В эпизоде с «воздушным» человечком Успенский, в противоположность утверждениям народников, показывает обременительность общинного владения землей для крестьянина-бедняка, которому выгоднее уйти из деревни и платить «с пуста», чем нести на себе все тяготы мирских поборов.

Основная часть очерка построена на материале цитат из писем незнакомки к С. Я. Надсону, напечатанных в выдержках вскоре после смерти поэта в «Книжках недели», 1887,

XI, стр. 1 – 78, под названием «С. Я. Надсон и графиня Лида». Переписка поэта в последние семь месяцев его жизни (с 22 мая 1886 года по 12 января 1887 года), прерванная его смертью, с женщиной, инкогнито которой Надсон не пытался сам раскрыть и знал ее лишь по присланному ею портрету, возбудила много шума и толков как в обществе, так и в печати. Друзья поэта даже воспользовались этим успехом для выпуска переписки в полном виде отдельным изданием с целью использовать полученные от продажи этой книги деньги на памятник Надсону. Книга (в 136 стр.) была набрана и сброширована в Петербурге с небольшим предисловием и послесловием, в которых указывалось, что адресат остался неизвестным, но что 24-летняя графиня Лида умерла вскоре после смерти Надсона, горько оплакивая его гибель. Однако прошли слухи, что «графиня Лида» – вовсе не графиня, а здравствующая жена скромного чиновника, мать четырех детей. Эти слухи проникли в печать, в «Новом времени» появились заметка и саркастический фельетон В. П. Буренина, что заставило организатора издания этой переписки, А. Н. Плещеева, отказаться от мысли выпустить ее в свет (А. Евгеньев. Пропавшая книга – «Исторический вестник», 1910, I, стр. 195–202). В ответных письмах Надсона разбросаны важные признания автобиографического характера, высказано много интересных мыслей, в частности дана уничтожающая характеристика светского общества, но внимание читателей было привлечено письмами и обликом самой «гра-

фини Лиды». Явная симпатия поэта к не лишенному литературного дара перу его адресатки, с другой стороны, воспевания ее поэтами Андреевским, Мережковским и др., а также скандальные, но бездоказательные разоблачения «графини» в газетной прессе еще более возбудили интерес публики к этому «роману» между аристократкой и поэтом-«плебеем». Успенский постарался разрушить создавшееся поэтическое впечатление от образа «графини». Он проанализировал письма с точки зрения демократа-социолога, сорвал с них блестящую мишуру «красивости» и показал читателям ничтожество и пустоту жизни, дум и стремлений «графини Лиды» – женщины, принадлежащей к верхушке буржуазного общества.